

Говард Филлипс Лавкрафт

Фотомодель Пикмана

(Pickman's Model)

Вы только не подумайте, Эллиот, будто я сумасшедший – ведь у многих бывают причуды и предрассудки еще почище моих. Дед Оливера, например, боится ездить в автомобиле, однако над ним вы не потешаетесь. Да, мне не нравится это чертово метро, но ведь это мое личное дело; к тому же на такси мы сюда добрались быстрее. А отправься мы поездом, так от Парк-Стрит пришлось бы еще подниматься в гору.

Конечно, теперь я не так безмятежен, как во время нашей прошлогодней встречи, но не ищите тут нервного расстройства. Видит Бог, тому есть масса причин, и мне, можно сказать, еще повезло, что я не спятил после всего случившегося. Да что вы пытаете меня? Прямо с ножом к горлу пристали. Раньше вы не были таким дотошным.

Ну ладно, расскажу, раз настаиваете. Может, так и впрямь будет лучше, а то ведь, узнав, что я перестал посещать Общество любителей живописи и порвал с Пикманом, вы, навроде этакого убитого горем папаши, засыпали меня скорбными посланиями. Кстати, теперь, когда Пикман исчез, я нет-нет да и заглядываю в Общество, но душа моя к этому делу уже не лежит.

Что случилось с Пикманом? Не знаю и не хочу гадать. Вы, наверное, решили, что я стал избегать Пикмана, проведая о нем кое-что, и именно поэтому не желаю сейчас даже думать о том, куда он подевался. Пусть полиция ищет – хотя я сомневаюсь, что они добьются успеха – им, оказывается, до сих пор неизвестно, что в районе Норт-Энд Пикман снимал еще один дом, на сей раз под именем Питерса. Теперь я вряд ли смог бы отыскать туда дорогу – да я и пробовать не стану, даже среди бела дня! Знаю ли я, для чего это все затевалось? Ну конечно, знаю – вернее, боюсь, что знаю. Сейчас объясню. Почему не сообщил полиции? А это вы, вероятно, и сами поймете по ходу моего рассказа. Ведь они попросили бы меня показать место, куда я, даже зная его точный адрес, ни за что не бы пошел. Там было нечто такое, отчего я теперь за милую сторонюсь метро и подвалов (вот вам, кстати, еще один повод для насмешек).

Надеюсь, вы поняли, что я оставил Пикмана не из-за какой-нибудь ерунды, как это сделали доктор Рейд, Джо Мино или Босуорт с их старушечьей суетливостью. Картины ужасов меня не пугают, а когда художник еще и талантлив, как Пикман, то я почел бы за честь знаться с ним; а в каком жанре он пишет – совсем не важно. Ричард Аптон Пикман – величайший и пока непревзойденный во всем Бостоне мастер. Я это всегда говорил и буду говорить впредь; я утверждал это, даже когда он показал мне свое знаменитое полотно "Трапеца вампиров". Помните, как раз после того с ним порвал отношения Мино.

А ведь чтобы творить, как Пикман, надо тонко чувствовать не только кисть, но и саму природу изображаемого. Размалевать бумагу как попало и назвать подобное художество сценой из ночного кошмара, шабашом ведьм или портретом дьявола – дело нехитрое. Так любой поденщик из дешевого журнала может. Но наполнить эту сцену неподдельным, живым ужасом под силу лишь великому мастеру. Только настоящему художнику ведома истинная анатомия ужасного и физиология страха – то есть, именно те очертания и размеры, которые воздействуют

непосредственно на скрытые инстинкты или архетипы страха, и именно такие сочетания цветов и световые эффекты, от которых пробуждается дремавшее доселе где-то в подсознании предчувствие неведомого. Излишне объяснять, почему от полотен Фюсли бросает в дрожь, а при виде жалкой мази, иллюстрирующей романы ужасов, хочется только похихикать. Есть у мастеров нечто такое – схваченное за рамками нашего бытия и открывающееся нам на мгновение силой их таланта. Так рисовал Доре. Так рисует Сайм. Так рисует Ангарола из Чикаго. А уж Пикман всех превзошел – и я молю небо о том, чтобы он навсегда остался непревзойденным.

Что им открывается? Ну как вам объяснить... Понимаете, заурядная живопись сводится лишь к разнице объектов – либо живая натура, модель, позаимствованная у природы, либо муляж, который ремесленники от искусства в два счета изобразят вам по всем правилам своей нехитрой кухни. В общем я бы так ответил: действительно самобытный художник обладает даром создавать модели своим внутренним зрением или мысленно воскрешать подлинные картины из окружающего его видимого мира. Во всяком случае, ему удастся создать произведения, которые почти настолько же далеки от приторно-сладких фантазий бездаря, вооруженного кистью, насколько живопись пейзажиста далека от скудоумных зарисовок карикатуриста-заочника. Если бы я хоть раз увидел то же, что и Пикман – ох нет, не дай Бог! Слушайте, Эллиот, давайте-ка выпьем, а потом я продолжу. Нет, если бы я хоть раз увидел то же, что и этот человек – да полно, был ли он вообще человеком? – уверяю вас, мне бы не выжить!

Как вы помните, лучше всего Пикману удавались лица. По-моему, после Гойи он – единственный, кто умел сделать каждую черточку донельзя выразительной, наполнить ее дыханием самого ада. А до Гойи были умельцы далекого средневековья – те самые, что расписали горгульями и химерами Собор Парижской богородицы и Мон-Сен-Мишель. Они могли поверить во всякое – как и увидеть всякое: ведь в истории Средневековья отмечено несколько весьма загадочных периодов. Помнится, вы и сами как-то спросили у Пикмана – еще за год до разрыва, – откуда он, черт возьми; черпает свои сюжеты и образы. А в ответ услышали прямо-таки дикий хохот, не так ли? Между прочим, Рейд покинул его отчасти именно из-за этой его манеры безумно хохотать. Рейд ведь тогда как раз занялся сравнительной патологией, и все носился с этой грандиозной теорией "скрытых явлений", касающейся биологической и эволюционной значимости того или иного умственного или физического симптома. Рейд сказал, что Пикман день ото дня становился все невыносимее, а под конец начал вызывать у него настоящий ужас: и черты его лица, я выражение постепенно менялись не в лучшую сторону – вернее, Рейда тревожило то, что в них оставалось все меньше человеческого. Рейд много говорил о роли питания, заключив, что у Пикмана, наверняка, должны быть в этом смысле отклонения и самые невообразимые странности. Вы, видимо, предостерегали Рейда – если, конечно, обсуждали этот вопрос в своих письмах, – что от картин Пикмана он получит нервное расстройство или будет мучиться кошмарами. Дело в том, что я и сам его тогда предостерегал.

Но, имейте в виду, я порвал с Пикманом вовсе не поэтому. Наоборот, я стал восхищаться им все больше и больше; ведь "Трапеза вампиров" – величайшее достижение живописи. Да, Общество наотрез отказалось выставить у себя эту картину, а Музей изящных искусств – принять ее как дар; могу лишь добавить, что ее никто бы не купил, а поэтому она и оставалась у Пикмана дома до тех пор, пока он не исчез неведомо куда. Сейчас она хранится у его отца, в Салеме – Пикман ведь из древнего салемского рода, и одну из его далеких родственниц, колдунью, даже повесили в 1692 году.

Я стал частенько наведываться к Пикману, особенно когда начал собирать материалы для монографии по живописи, изображающей явления потустороннего мира. Вероятно, я занялся этим под впечатлением его работ; во всяком случае открыл в нем богатейшую кладезь фактов и идей. Он показывал мне все картины и рисунки из своего архива, включая эскизы тушью – за последние

его бы, точно, выгнали из Общества, но, к счастью, большинство членов их не видело. Вскоре сделался чуть ли не поклонником Пикмана: я, как приготовишка, мог часами слушать его рассуждения об искусстве и философские размышления – до того сумасбродные, что оратора впопуг было бы отправить в Данвэрскую лечебницу для душевнобольных. Мой восторженный интерес на фоне нараставшей всеобщей неприязни привел к тому, что у нас с Пикманом установились особо доверительные отношения; и вот как-то вечером он вскользь заметил, что, умей я по-настоящему хранить тайну и не будь я таким слабонервным, он, может быть, и показал бы мне нечто особенное – нечто еще более впечатляющее, чем все его домашнее собрание картин.

– Видите ли, – пояснил он, – на Ньюбери-Стрит не место кое-каким вещицам: они здесь ни к чему, да и вдохновения не приносят. Мое ремесло – запечатлевать скрытую жизнь духа, а где же ее найдешь среди этого скопища безвкусных построек на давно обжитой земле. Нет, район Бэк-Бей – это вам не Бостон; это вообще пока невесть что. Он не успел еще вобрать в себя тени прошлого и создать свою особую мистическую ауру. Если здесь и водятся привидения – так это обычные обитатели солончаков и пустых пещер; мне же нужны человеческие призраки – призраки существ достаточно высокоорганизованных, то есть способных заглянуть в самую преисподнюю и постичь суть увиденного.

Район Норт-Энд – вот где надо жить художнику! Будь все эти эстетствующие особы искренни, они поселились бы в трущобах и претерпевали бы что угодно ради сохранения накопленных веками преданий. Боже правый! Неужели вы не понимаете, что места, подобные этому, не просто однажды возникли – они еще и развивались! Бесчисленные поколения, сменяя друг друга, рождались, жили и умирали там в те самые времена, когда люди не боялись рождаться, жить и умирать. Известно ли вам, что в 1632 году на Коппс-Хилл уже стояла мельница, а половина нынешних улиц появилась к 1650 году? Здесь есть дома, которым по два с половиной века и больше; дома, пережившие такое, отчего современные строения рассыпались бы в пыль. Да что наши современники вообще знают о жизни и ее подспудных силах? Вы вот считаете салемское колдовство обманом, но готов поспорить, что у прабабки моей прапрапрапрабабки было бы что порассказать вам. Ее повесили на пресловутом Гэллоуз-Хилл – "холме висельников", а Коттон Мэзер лицемерно наблюдал за происходящим. Этот Мэзер, черт бы его побрал, боялся, как бы кто-нибудь ненароком не вырвался из этого однообразного круга жизни. Эх, не могли его тогда сглазить или высосать из него ночью всю кровь!

Если хотите, я покажу вам дом, в котором он жил, а еще – дом, порог которого он боялся переступить, несмотря на все свои хвастливые разглагольствования. Он знал такое, о чем не решился бы поведать в своей пресловутой "Магналии" или в младенческих "Чудесах невидимого мира". Погодите, а вам известно, что некогда весь Норт-Энд был соединен подземными туннелями, через которые определенный круг лиц держал связь друг с другом, а также имел выход к кладбищу и морю? Наверху могли выслеживать сколько угодно и преследовать кого угодно – до того, что изо дня в день происходило внизу, им все равно было никогда не добраться, а равно как и не понять, откуда звучал по ночам чей-то странный смех!

Так что, дружище, могу спорить: в подвалах восьми домов из десяти, построенных до 1700 года и сохранившихся до наших дней, мы с вами найдем кое-что занятное. Ведь месяца не проходит, чтобы газеты не сообщили: при сносе старого здания рабочие обнаружили, заделанный кирпичом сводчатый проход или колодец, ведущие в тупик. В прошлом году, например, одно такое строение стояло недалеко от Хенчмен-Стрит – оно хорошо просматривалось с железнодорожной эстакады. Его камни видели настоящих ведьм и плоды вершимого ими, морских пиратов и их трофеи, контрабандистов, каперов – поверьте мне, в былые времена люди умели жить, умели раздвинуть рамки бытия! И проницательным смельчакам открывался не только этот мир, черт побери! А что сегодня? Нет, вы только взгляните на них – ни ума, фантазии; даже так называемые художники из

Общества и содрогаются и бьются в припадке, увидев картину, недоступную для восприятия обывателей с Бикон-Стрит!

Для настоящего есть только одно спасительное оправдание: оно безнадежно глупо и совершенно неспособно заняться прошлым всерьез. Разве могут все эти карты, архивы, путеводители рассказать подлинную историю Норт-Энда? Куда там! Поверьте моему слову, где-нибудь к северу от Принс-Стрит найдется десятка три-четыре улочек и лабиринтов, о существовании которых знает не больше дюжины душ, не считая иностранцев, в последнее время запрудивших эти места. Но разве понимают все эти италяшки и прочий жалкий люд, куда они попали? Нет, Тербер, края предков погружены в прекрасный сон, в мир чудес и ужасов, избавленный от повседневности, однако постичь их суть и обратить ее себе во благо не может ни один человек. Вернее, один все же смог – не зря ведь я докапывался до прошлого!

Кстати – вы же, вроде, интересуетесь всеми этими делами. Так вот: представьте себе, что в Норт-Энде у меня есть еще одна мастерская – там я могу уловить зловещие тени далеких времен и запечатлеть такое, о чем на Ньюбери-Стрит даже и не помышлял. Я, конечно, ничего не рассказываю этим чертовым старым девам из Общества, а тем более Рейду – чтоб ему пропасть: ведь это он пустил слухок, что я, мол, эдакий выродец, отброшенный природой в обратном направлении эволюции. Знаете, Тербер, я давно решил: надо изображать не только прекрасную, но и безобразную сторону жизни, поэтому и занялся поисками там, где, по моим сведениям, было самое место всяким кошмарам.

И я нашел одно местечко – из цивилизованных людей такое видели, кроме меня, человека три, не больше. Оно находится недалеко от эстакады – если измерять по расстоянию, но через пропасть веков – если измерять по духу времени. Мне оно приглянулось колодцем в подвале: старый, странный, заделанный кирпичом – вроде тех, о которых я говорил. Хибара эта почти совсем развалилась, так что жить там уже никто не станет, а плачу я за нее – даже не хочется говорить сколько – словом, гроши. Окна заколочены, но так даже лучше: для моего дела солнечный свет ни к чему. Рисую я прямо в подвале, где испытываю наивысшее вдохновение, но на первом этаже у меня есть несколько комнат со всей обстановкой. Я снял этот дом, представившись владельцу, сицилийцу, под фамилией Питерс.

Итак, если вы готовы, отправимся сегодня вечером. Картины вам, наверняка, понравятся, потому что там, как я уже говорил, я слегка "разгулялся". Это место совсем рядом, я иной раз пешком хожу: появление такси привлечет внимание, а мне это совсем ни к чему. До Бэттери-Стрит можно доехать на местном поезде, курсирующем от вокзала Саут-Стейшн, а дальше до дома – рукой подать.

Как вы понимаете, Эллиот, после таких зазывных речей я с трудом сдерживал желание помчаться к первому попавшемуся свободному такси и старался идти спокойным шагом. Доехав до вокзала, мы пересели на поезд и к полудню уже спустились с моста на Бэттери-Стрит и двинулись вдоль старого причала, мимо пристани Конституции. Мы шли какими-то переулками, где-то свернули – где именно, не могу вспомнить, но точно знаю, что не на Гриноу-лейн.

Итак, мы свернули, а дальше пришлось пробираться по длинной безлюдной улочке, древнее и грязнее которой я сроду не видел: фронтоны того и гляди рассыплутся, окошки крохотные, стекла повывбиты, а на фоне лунного неба торчат сводчатые верхушки полуразрушенных каминных труб. Из близлежащих домов три уж точно сохранились еще со времен Коттона Мэзера – во всяком случае, под крышами двух из них я различил выступающие балки для подъема грузов на верхние этажи, а еще одна крыша была остроконечной, хотя знатоки старины утверждают, что в Бостоне

больше не осталось строений этого почти забытого стиля, предшествовавшего двускатным мансардовым крышам.

С этой тускло освещенной улочки мы свернули налево, на другую – тоже глухую, но еще более тесную и совсем темную; мы шли по ней с минуту, сделав, как мне показалось, крюк вправо. Пикман посветил заблаговременно приготовленным фонариком: перед нами была допотопная дверь из множества дощечек-заплаток, да и на тех, похоже, не оставалось живого места: до такой степени их источили черви. Пикман отпер дверь и повел меня по пустому коридору, стены которого были отделаны темным дубом, давно потерявшим былой благородный оттенок – этот, безусловно, незатейливый декор, тем не менее, сильно будоражил воображение, возвращая во времена Андроса, Фиппса и Черной Магии. Пикман отворил дверь слева, мы вошли, он зажег керосиновую лампу и сказал: "Ну вот, почувствуйте себя как дома".

"Как дома"! Эллиот, на стенах комнаты красовалось такое, отчего мне – "видавшему виды", по понятию обывателей – стало не по себе, Это были картины Пикмана – ну, те самые, что на Ньюбери-Стрит он не смог бы ни нарисовать, ни даже показать. Да, он был прав, говоря, что здесь "слегка разгулялся". Знаете что – давайте-ка еще по рюмочке! Во всяком случае, лично я выпью.

Нет, увиденное словами не передашь: весь этот дикий ужас, дьявольщина, чудовищное безобразие и духовное убожество невыразимым образом создавались незамысловатыми мазками кисти. Никакой редкостной техники, как у Сиднея Сайма; никаких фантастических сатурнианских пейзажей и лунных грибов Кларка Эштона Смита, от которых стынет кровь в жилах. Фоном выбраны в основном старые погосты, дремучие леса, прибрежные морские скалы, кирпичные туннели, старинные залы с отделкой или скромные каменные надгробья. Излюбленный вид – кладбище Коппс Хилл, до которого отсюда ходу несколько минут, не больше.

Изображения фигур на переднем плане – вот где начиналось безумие и адский кошмар, что неудивительно, поскольку демонические образы и составляли основу пикмановской запредельной живописи. Чаще всего эти фигуры лишь в той или иной степени были схожи с человеческими, полностью соответствовали им только несколько. Большинство тел – условно двуногих – кренились вперед, имели слабовыраженную собачью осанку и состояли не из плоти, а подобия резины: вот мерзость-то. Фу! Как сейчас их вижу! Художник изобразил их в момент – ну, не буду говорить, чего именно. В основном они занимались пожиранием чего-то непонятного. Некоторые сцены были групповые – на кладбищах, в подземных ходах; а зачастую еще и батальные: чудовища дрались из-за добычи – вернее, из-за того, что было для них кладом. Навеки закрытые глаза трофейных покойников иной раз буквально пронзали взглядом – нет, Пикман был просто дьяволом! В некоторых ночных сценках чудовища запрыгивали в открытые окна или, усевшись на грудь спящим, вгрызались им в глотку. А на одной из картин они, забравшись на вершину Гэллоуз Хилл; со всех сторон набросились на казненную колдунью, мертвое лицо которой было очень похоже на их морды.

Вы, наверное, подумали, что меня перепугали насмерть, все эти мерзкие сюжеты на мрачную тему. Отнюдь! Я ведь не ребенок, к тому же многое такое уже видел. Звериные морды, Эллиот, – вот что протрясало! Проклятые рожи, исходя слюной, косили с картин хищным взглядом совсем как живые! Боже мой, а ведь они, пожалуй, и впрямь были живые! Этот изверг развел в краске адский огонь и оживил нечисть на холсте мазками своей магической кисти. Эллиот, подайте мне вон тот графин с вином!

Одно из полотен называлось "Воспитание" – боже упаси меня взглянуть на него еще раз! Так вот: представьте себе кладбище, малыша, а вокруг него сидят неведомые, похожие на псов существа и учат, как надо добывать себе пищу. Дорогая цена подмены – знаете, наверное, есть

такое древнее поверье, что эльфы подкидывают в колыбель свое отродье взамен похищенного человеческого ребенка. Пикман хотел показать участь похищенных; то есть, что из них вырастает; и, поверите ли, я вдруг заметил отвратительное сходство человеческих лиц и звериных морд. Он язвительно продемонстрировал – на мрачных примерах всех видов и степеней, – что явно нечеловеческое и утраченное человеческое – звенья одной цепи и единого процесса развития. Полусобаки произошли от людей!

Не успел я прикинуть, какую же участь Пикман уготовил их отродью – подкидышу, оставшемуся у людей, как мне на глаза попала картина как раз с такой иллюстрацией. Там царил атмосфера старинного пуританского духа: ярко освещенная комната, решетчатые окна, деревянный пол, неуклюжая массивная мебель XVII века; в центре – отец семейства читает вслух из Библии, а сидящие кругом домочадцы слушают. На лицах у всех, кроме одного, благообразное, почтительное выражение; на этом же сквозила дьявольская ухмылка. Этот молодой человек, которого все окружающие считали родным сыном набожного отца, на самом деле и был тем нечистым отродьем, подкидышем демонов. Пикман, видимо, будучи в ироническом настроении, придал его внешности легко уловимое сходство с собственной.

Между тем Пикман зажег лампу в соседней комнате и, учтиво распахнув передо мной дверь, поинтересовался, не желаю ли я взглянуть на его "модернистские этюды". Я, как и прежде, ответил что-то маловразумительное – я, признаться, совсем онемел от страха и отвращения – но, по-моему, он все понял и остался весьма польщен. Эллиот, друг мой, повторяю, я не какая-нибудь слезливая женщина и при виде малейшего "безобразия" визжать не стану. Я уже мужчина в годах, умудренный опытом, да вы и сами знаете меня по Франции и понимаете, что пустяками меня не проймешь. Не забывайте также, что к тому моменту я уже почти оправился от потрясения после страшных картин в первой комнате, на которых колониальная Новая Англия была превращена в филиал преисподней. Так вот: несмотря на все сказанное, на пороге второй комнаты из груди моей вырвался неподдельный крик ужаса, и я едва успел схватиться за косяк, чтобы не рухнуть на пол. Там, в первой комнате я увидел скопище вампиров и ведьм, верховодивших в мире наших предков – здесь же кошмар царил у нас, в нашей обыденной жизни!

Боже правый, какой талант! Так рисовать! Один из этюдов назывался "несчастный случай в метро": свора страшилищ карабкается наверх из какой-то заброшенной галереи через выбоину в полу на станции "Бойлстон-Стрит"; вылезшие набрасывались на людей, столпившихся на платформе. На другом этюде была изображена пляска среди надгробий на Коппс-Хилл – на фоне вполне современного пейзажа. А еще там было множество всяких зарисовок с видами подвалов, откуда чудища ползли через трещины и щели в каменной кладке, а затем, ухмыляясь, прятались за бочки и печные выступы и сидели в ожидании, когда их первая жертва спустится с лестницы.

Была там и такая гадость: панорама холма Бикон Хилл в поперечном разрезе; полчища ядовитых, похожих на муравьев тварей протискиваются через изрешетившие землю дыры. В изобилии были представлены сцены с плясками на новых погостах, но больше всего меня почему-то потрясла кладбищенская тема в таком исполнении: склеп, скопище монстров, один из них, окруженный остальными, держит знаменитый бостонский путеводитель и, очевидно, читает вслух. Все ты чут в сторону какой-то аллеи, корчась в припадке дикого хохота с перекошенными мордами – мимика была столь живописна, что мне казалось, я слышу отзвуки их сатанинского веселья. Картина называлась "Холмс, Лоуэлл и Лонгфелло покоятся в Маунт-Обсрне".

Мало-помалу успокоившись и привыкнув ко второй экспозиции дьяволиады и мрака, я попытался понять, чем вызвано мое органической отвращение. Во-первых, сказал я себе, изображенное отталкивало совершенной бесчеловечностью и откровенной жестокостью, которые, казалось, были присущи самому художнику. Какую же ненависть нужно питать ко всему

человечеству, чтобы так смаковать муки души и тела и осквернение последнего людского пристанища. Во-вторых, полотна ужасали мастерством исполнения. Их художественный вымысел был донельзя убедителен – смотришь и видишь не нарисованных, а оживших дьяволов, и начинаешь бояться их уже всерьез. Но самым странным было то, что этого эффекта Пикман достигал без каких-либо экзотических приемов или нарочитости! Ничего туманно-расплывчатого, искаженного, упрощенного; контуры четкие, правдоподобные; детали выписаны с предельной точностью. И, конечно, эти поразительные звериные морды!

Изображенное на картинах не было взглядом художника на мир ада; это был сам ад – не искаженный вымыслом, ад в своей абсолютной реальности! Клянусь вам, это так! Их автор вовсе не фантазер и не жертва наваждения – он даже не пытался придать им вид снов – сумбурных, мимолетных, обрывочных; он с хладнокровной усмешкой рисовал некий прочный, упорядоченный и незыблемый мир ужасов, который видел воочию, во всем его обличий, ничего не пропустив своим зорким глазом. Что это за мир, если он и впрямь существует, и где Пикман вообще узрел его уродливых обитателей – прыгающих, бегающих, ползающих – одному Богу известно; но из какого бы загадочного источника не возникали эти образы, одно было ясно. Пикман во всех отношениях – и по содержанию, и по технике исполнения – реалист до мозга костей, рьяный и чуть ли не математически точный.

Между тем хозяин повел меня вниз, в подвал, где размещалась его рабочая студия, и я уже мысленно приготовился к новому потрясению при виде его незаконченных полотен. Мы спустились по скользким от сырости ступеням, Пикман осветил фонариком обширное пустое пространство в углу: дуга кирпичной кладки – очевидно, это было все, что осталось от огромного колодца, вырытого в земляном полу. Мы подошли поближе; колодец оказался очень большим – в три обхвата; его толстенные – в три ладони – стены выступали над полом чуть выше щиколотки – добротная работа семнадцатого, если не ошибаюсь, века. Пикман сказал, что это есть один из тех самых колодцев, а вернее, лазов наверх из лабиринта туннелей, через которые обычно и делали подкоп под холм. Я походя отметил, что ствол колодца, похожее, был заложен кирпичом и кто валявшийся рядом увесистый деревянный диск явно служил ему крышкой. Но вообще-то этот колодец действительно мог быть началом подземной галереи, если сумасбродные предположения Пикмана были не просто краснобайством – при этой мысли я невольно вздрогнул, а затем, повернулся и, шагнув следом за Пикманом на ступенчатый порог, прошел через узкую дверь в просторную комнату с деревянным полом; судя по ее обстановке, это и была студия. Необходимым для работы освещением служила ацетиленовая горелка.

На мольбертах и вдоль стен стояли незаконченные картины – такие же отвратительные, как и те, законченные; наверху – чувствовалось, что над ними трудились с большим усердием, в набросанных композициях ощущалась продумность и основательность, а в контурах графики – скрупулезность художника, добивавшегося точности пропорций, перспективы. Да, это был великий мастер – о чем я заявляю даже теперь, после всего, что узнал. Мое внимание привлек фотографический аппарат на столе: Пикман пояснил, что задний план он срисовывает с фотомоделей, которые снимает разом, чтобы не таскаться со своими причиндалами по всему городу, когда потребуются запечатлеть тот или иной вид. Пикман считал, что для длительной работы фотоснимок ничем не хуже натурной сцены или модели, и, по его словам, неизменно пользовался таким приемом.

От жутковатых первичных набросков и полузаконченных мерзостей, зловеще глядевших со всех сторон, становилось как-то не по себе, а когда хозяин вдруг отдернул занавеску с гигантского полотна, что стояло в тускло освещенном углу, я, не в силах сдержаться, громко вскрикнул – во второй раз за тот вечер. Мой голос эхом прокатился под темными сводами старого, затхлого подвала; во мне бушевало море эмоций, но я не дал им вылиться в истерический смех, готовый

сорваться с моих губ. Боже милостивый! Вы не поверите, Эллиот, я даже не могу сказать, где на этом холсте кончалась правда и начиналась большая фантазия. Но если это – сплошь выдумка, то такая, какой свет еще не видывал!

Там было изображено громадное, неведомое порождение ада: пылающие глаза, огромные костлявые лапы, в которых было зажато все, что осталось от человека; оно жадно глодало голову своей добычи – так еще дети грызут леденцы на палочке. Чудовище сидело сжавшись, как перед прыжком; казалось, теперь, завидев кусочек полакомее, оно запросто может наброситься, оставив прежнюю добычу. Однако неиссякаемым источником панического страха, который нагоняла эта картина, было даже не дьявольское создание – пропади оно пропадом; нет, не оно, не его собачья морда – слюнявая, плосконосая, с налитыми кровью глазами и заостренными ушами. Ужасали не чешуйчатые когти его, не покрытое плесневой коркой тело, не полукопыта на задних лапах – дело вовсе не в них, хотя от вида даже одной из этих прелестей слабонервному человеку недолго и спятить.

Мастерство исполнения, Эллиот, проклятое, сатанинское, фантастическое мастерство – вот что убивало наповал! Сколько лет живу на свете, а впервые видел, чтобы картина буквально дышала жизнью. А это чудовище! Ведь словно живое: глазами сверкает и добычу свою грызет – грызет, а само все глазами сверкает; ясно, что нарисовать такое без натуры, то есть, не заглянув в преисподнюю, – а ее простой смертный может увидеть лишь продав душу Дьяволу – было противно всем вообще законам Природы.

К холсту, на свободном месте, был приколот чертежной кнопкой листок бумаги – некогда плоский, а теперь свернувшийся в трубочку. Наверное, решил я, это фотоснимок, с которого Пикман собирался срисовать задний план, выбранный под статью отвратительному переднему – чтобы получилось побезобразнее. Я протянул руку к трубочке – взглянуть, но тут вдруг заметил, что Пикман вздрогнул, точно в него выстрелили. Надо сказать, он все прислушивался к чему-то очень внимательно еще с того момента, как вырвавшийся у меня крик нарушил вечное безмолвие мрачного подвала и эхом прокатился по нему; теперь же Пикмана, похоже, обуял страх – с моим не сравнить, конечно, но вызван он был не абстрактной, а скорее, конкретной физической угрозой. Пикман вынул пистолет, подал мне знак молчать, а сам шагнул обратно в подвальный коридор и закрыл за собой дверь.

На какое-то мгновение я, видимо, остолбенел. Я, как и Пикман, стал прислушиваться, и мне почудился шорох, тихий топот, потом визг и тупые звуки ударов. При мысли об огромных крысах я содрогнулся. Внезапно раздался какой-то приглушенный стук – у меня даже мурашки по телу побежали; казалось, где-то двигались на ощупь, крадучись – нет, словами ощущения от происшедшего не передать. Такой звук получается при ударе увесистой деревяшкой по камню или кирпичу – деревяшкой по кирпичу – стоп! Вы поняли, о чем я подумал?

Стук повторился, но уже сильнее и с отдачей, словно деревяшкой ударили с большим размахом. Затем раздался лязгающий скрежет, громкая, но невнятная речь Пикмана, и оглушительная серия пистолетных выстрелов – все шесть зарядов один за другим: мне почему-то вспомнилось, как укротитель львов стреляет в цирке для пущего эффекта. Приглушенный крик, визг, потом глухой стук. Затем опять удары деревяшкой по кирпичу, скрежет, и наконец все стихло. Дверь отворилась – тут я, признаться, струхнул – и на пороге появился Пикман, на чем свет стоит кляня жирных крыс, наводнивших колодец; он держал пистолет, дуло которого слабо дымилось.

– Черт их знает, чем они живы, – ухмыльнулся Пикман. – Понимаете, Тербер, старые туннели вели ведь либо на кладбище, либо в логово ведьм, либо к морю. Но как бы там ни было, видимо, у них в брюхе пусто, раз как бешеные рвались наружу. Они, наверное, на ваш крик кинулись. В этих

руинах надо быть поосторожнее – единственное, чем они плохи, так это нашими меньшими братьями-грызунами, хотя порой мне кажется, что и они удачно дополняют общий фон и колорит.

Вот так, Эллиот, и закончилось мое ночное приключение! Пикман пообещал показать эту свою мастерскую и, видит Бог, он сдержал слово. Обрато он вел меня, похоже, другим путем, потому что когда из лабиринта переулков мы вышли под свет фонаря, то очутились на какой-то малознакомой улице, по обе стороны которой нескончаемо тянулись вперемешку новые и старые дома. Оказалось, это Чартер-Стрит, но как мы на нее попали, я, переволновавшись, не заметил. На поезд мы опоздали и пошли пешком. Этот маршрут я запомнил: мы двинулись по Ганновер-Стрит, затем с Трмонт-Стрит повернули на Бикон-Стрит, на углу Джой-Стрит Пикман распрощался со мной, и я направился в свою сторону. Больше я с ним не виделся.

Почему я порвал с ним? Терпение, друг мой – сейчас узнаете, вот только распоряжусь подать нам кофе. Правда, мы уже изрядно выпили кое-чего покрепче, но лично мне требуется еще и это. Нет, не из-за картин я порвал с Пикманом, хотя, сказать по совести, другие бостонцы на моем месте в девяти случаях из десяти захлопнули бы перед ним двери своих домов и клубов; теперь, я думаю, вам ясно, почему я в подземные переходы, метро и подвалы – ни ногой. Причиной разрыва стало нечто, найденное мною в кармане пальто наутро. Да, та самая свернувшаяся в трубочку бумага, прикрепленная к жуткому холсту из подвала – я еще решил, что это – фотоснимок с натуры, с которого Пикман собирался срисовывать задний план для своего чудовища. Последняя волна страха накатила на меня, когда я потянулся рукой к листку, чтобы развернуть; а потом я, видимо, машинально запихнул его в карман. А, вот и кофе; Эллиот, выпейте крепкого, без молока – не пожалеете.

Итак, я порвал с Пикманом из-за этого самого листочка. Ричард Аптон Пикман. Величайший из известных мне художников – и величайший из извергов, которому удалось перепрыгнуть через рамки бытия и попасть в бездну потустороннего и безумного. Эллиот, а ведь старик Рейд был прав. Пикман – не совсем человек. Он либо рожден не от мира сего, либо потом нашел ключик к запретным вратам.

Ну, теперь уж все равно, раз он удалился обратно в неведомую тьму, куда так любил заглядывать. Кстати, давайте-ка зажжем свечи.

Не спрашивайте, что я предал огню; и даже не гадайте. И не спрашивайте, что означала та ночная вылазка на ощупь, во-кратовьи, которую Пикман так жаждал выдать за набег крыс. Есть тайны, доставшиеся нам в наследство еще со времен салемиских ведьм, а у Коттона Мэзера можно найти кое-что и позагадочнее. Вы не представляете себе, какие у Пикмана были картины – все ну прямо как живое; и как мы все недоумевали: где он видел эти звериные морды.

Так вот: тот листик оказался вовсе не фотографией заднего плана. И изображено там было всего-навсего чудовище – то самое, что Пикман рисовал на своем безобразном холсте. Чудовище на листке служило ему фотомоделью, – позировавшей на простеньком фоне стены в подвальной студии, запечатленной крупным планом. Ей-богу, Эллиот, снимок был сделан с натуры.

*Перевод: М. Волкова
1993 год*